# Ахматова принесла в русскую лирику огромную сложность и психологическое богатство русского романа

Анна Ахматова очень быстро стала знаменитой после того, как в 1912 году вышла первая ее книга — «Вечер». И хотя у нее не было «таланта счастливости», она пошла навстречу своей судьбе — признанию и восхищению, забвению и злобе, бездомности и скитальчеству. За десять лет после выхода «Вечера» Ахматова выпустила еще 4 книги стихотворений. Популярность поэтессы, слагавшей «веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной», была огромной.  
  
Творчество Ахматовой 10-х — начала 20-х годов удивило современников: ее стихотворения были лаконичными поэтическими новеллами, в которых одна-единственная деталь равносильна многим страницам талантливой прозы. Тонкий психологизм, самобытная интонация, удивительное ощущение музыки слова, казалось, раздвигали границы традиционных размеров, привычных строф. Поэтесса «принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа девятнадцатого века», — писал О. Мандельштам. С этим сложно не согласиться. Круг тем молодой Ахматовой не слишком широк: с читателем она говорила о том, что происходило с ней самой. Каждая ее строка была продиктована самой жизнью, судьбой поэтессы. Что же привлекало читателя: беспощадная откровенность? Бездна пространства, открывавшаяся в каждой ее строке? Живая сопричастность ее слова мировому наследию? Ведь акмеизм (а именно к этому литературному течению принадлежала поэтесса), как заметил О. Мандельштам, — это «тоска по мировой культуре». Спустя десятилетие после выхода первой книги А. Ахматова уже имела репутацию живого классика. Вершиной творческого подъема молодой Ахматовой стала книга «Anno Domini» (1921). После нее (с 1923 по 1934) было создано менее двадцати стихотворений. Нет, Ахматова не ушла из литературы: ее книги издавались, о ней писались статьи, но при этом тон критики становился все более недоброжелательным. Наступила новая эпоха — не приемлющая свободную, независимую личность, утверждавшая приоритет общественного над индивидуальным. Рационализм и научное мышление вытесняли все стихийное и религиозное. Политика и экономика подменяли нравственность. Мораль классовая отменяла общечеловеческую. Нужен ли был такой эпохе поэт, очеловечивающий и свечи, горящие «равнодушно - желтым огнем», и золотую ласковую «млеюще-зеленую голубятню», и «безнадежно-бледные» небеса? Страна жила настоящим и будущим («Вперед, время, время, вперед!»), презирая и втаптывая в грязь прошлое, оставляя Ахматовой трагический, но единственно возможный путь — повернуть время вспять. В 1935 году многолетнее молчание было прервано. Именно этим годом датирован наиболее ранний фрагмент «Реквиема». «У каждого поэта своя трагедия. Иначе он не поэт. Меня не знают», — говорила Ахматова. Действительно, долгие годы Ахматову не знали в полной мере, ибо не была известна поэма, создававшаяся одновременно с шестой книгой стихов, которая отдельно, в отличие от других, не издавалась никогда, впервые она увидела свет под названием «Ива» в составе сборника «Из шести книг» (1940). В издании 1940 г. шестая книга называлась «Ива» — по заглавию одного из стихотворений, которому предшествовал эпиграф из Пушкина: «И дряхлый пук деревьев». Эпиграф ко всей книге — из «Импровизации» Пастернака, в которой искусство осознается частью мира природы:  
  
«И было темно. И это был пруд. И больны…».  
  
«Ива» — это стихотворение-воспоминание:  
  
А я росла в узорной тишине,  
  
В прохладной детской молодого века.  
  
И не был мил мне голос человека,  
  
А голос ветра был понятен мне.  
  
Эпиграфы и заглавие книги подчеркивают ее ведущий мотив: прошлое прекрасно, в нем — гармония, сопричастность природе. Но «серебряная ива» смертна. На ее месте «пень торчит, чужими голосами. Другие ивы что-то говорят…». «Другие ивы» — не только знак вечной жизни, но и горестное прощание с прошлым, былой гармонией: «И я молчу… Как будто умер брат». С течением лет для поэтессы становится важнее другой мотив этой книги, и она получает новое название — «Тростник». Тростник — это образ из стихотворения «Надпись на книге», открывающего сборник и посвященного одному из ближайших еще с «акмеистских времен» друзей — М. Л. Лозинскому. Новым эпиграфом к книге стала строка из пастернаковского «Гамлета»: «Я играю в них во всех пяти». «Надпись на книге» начинается там, где завершалась «Ива». В финале «Ивы» — «умер», «Надпись…» начинается с обращения:  
  
Почти от залетейской тени  
  
В тот час, как рушатся миры,  
  
Примите этот дар весенний…  
  
Ключевое слово «Ивы» — «умер», «Надписи…» — «оживший»: «И над задумчивою Летой // Тростник оживший зазвучал». Обращение к музе («Муза») как бы продолжает последние строки первого стихотворения («Надпись на книге»), в которых под аккомпанемент праздничных, звонко звенящих «з» над «задумчивою Летой // Тростник оживший зазвучал»:  
  
Когда я ночью жду ее прихода,  
  
Жизнь, кажется, висит на волоске.  
  
Что почести, что юность, что свобода  
  
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.  
  
И вот вошла. Откинув покрывало,  
  
Внимательно взглянула на меня.  
  
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала  
  
Страницы Ада?». Отвечает: «Я».  
  
Что же дало поэту право бесстрашно встретить такого гостя? Осознание своего тягостного и высокого жребия: трагедия народа стала личной трагедией Ахматовой (у нее арестовали сына), а ее жизнь — отражением судьбы народной. «Я была тогда с моим народом. Там, где мой народ, к несчастью, был». В «Реквиеме» Ахматова писала: «И ненужным привеском болтался // Возле тюрем своих Ленинград». Спустя два десятилетия она вспоминала, как ее «опознали» в очереди к тюремному окошку: «Тогда стоящая за мной женщина,.. которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо:  
  
— А это вы можете описать?  
  
И я сказала:  
  
— Могу.  
  
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом». Это было первое произведение Ахматовой «по заказу». В те годы художник представлялся Ахматовой олицетворением жизнестойкости. Он — подорожник, смиренный, всюду зеленеющий, неубиенный. Такими «подорожниками» были ее великие современники.  
  
Стихотворение «Воронеж», посвященное Мандельштаму, написанное в период его воронежской ссылки, состоит из двух частей. В первой — пейзаж: оледенелый город петровской эпохи, сквозь обледенелость время течет вспять — возникает «свод светло-зеленый» и «склоны могучей, победительной земли», веющие Куликовской битвой. Но жизнь — только в прошлом. В настоящем — «комната опального поэта», в которой  
  
Дежурят страх и Муза в свой черед,  
  
И ночь идет,  
  
Которая не ведает рассвета.  
  
О. Мандельштам был близок Ахматовой «без изъятия». Не будь заглавия и посвящения, «Воронеж» мог быть прочитан как приговор самой себе. Стихотворение того же 1936-го года «Поэт (Борис Пастернак)» написано на «языке» Пастернака, с его «безудержем», когда кажется, что весь мир хлещет в артериях его стихов. «Поэт» — это стилизация пастернаковского поэтического «автопортрета»:  
  
Он, сам себя сравнивший с конским глазом,  
  
Косится, смотрит, видит, узнает,  
  
И вот уже расплавленным алмазом  
  
Сияют лужи, изнывает лед.  
  
  
  
Он награжден каким-то вечным детством  
  
Той щедростью и зоркостью светил,  
  
И вся земля была его наследством,  
  
А он ее со всеми разделил.  
  
Настоящее трагично. Будущего нет. Шестую книгу пронизывает ощущение конца. Книга «рождается в тот час, как рушатся миры». Ожидание прихода музы — это мгновение, когда «жизнь, кажется, висит на волоске». И в это мгновение ясно видна дорога — «О, туда, туда, Туда по Подкапризовой Дороге, Где лебеди и черная вода». Поэт обретает вечные истинные ценности — «лип навсегда осенних» позолоту, «синь сегодня созданной воды». К поэту, стоящему у бездны, приходят герои: Данте, и после смерти не вернувшийся во Флоренцию, «бессмертный любовник Тамары», молодой Маяковский, Клеопатра, и в тот час, когда «мало осталось Ей дела на свете — еще с мужиком пошутить.  И черную змейку, как будто прощальную жалость, На смуглую грудь равнодушной рукой положить». Шестая книга — о не идущем ни на какие компромиссы искусстве, одухотворении, совести:  
  
Одни глядятся в ласковые взоры,  
  
Другие пьют до солнечных лучей,  
  
А я всю ночь веду переговоры  
  
С неукротимой совестью своей.  
  
Я говорю: «Твое несу я бремя  
  
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».  
  
Но для нее не существует время  
  
И для нее пространства в мире нет.  
  
В «Иве» наряду со стихотворениями второй половины 30-х годов были и более ранние. Тем разительнее контраст между «сейчас» и «тогда». В стихотворении 1929 года любимый с детства город кажется промотанным наследством, о страшных переменах лишь вещует скрипач. В стихотворении «Мои молодые руки…», написанном позднее, в 1940 г., — некогда напророченная безысходность:  
  
Кто знает, как пусто небо  
  
На месте упавшей башни,  
  
Кто знает, как тихо в доме,  
  
Куда не вернулся сын.  
  
Итоги прошлого подводятся в «Подвале памяти». Начало стихотворения — продолжение мучительно неотвязного разговора, противиться которому более нет сил. Стихотворение — словно рисунок. Не отрывая пера от бумаги, поэт проводит из настоящего в прошлое линию жизни:  
  
Я опоздала. Экая беда!  
  
Нельзя мне показаться никуда.  
  
Но я касаюсь живописи стен  
  
И у камина греюсь. Что за чудо!  
  
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен  
  
Сверкнули два живые изумруда.  
  
И кот мяукнул. Ну, идем домой!  
  
Но где мой дом и где рассудок мой?  
  
Движение сюжета — от обыденного к фантастическому. Исподволь, едва заметно нарастает тема безумия. Все подлинно, и все фантастично, безумно. Но вот сюжет исчерпан, эпилог превращает новеллу в трагедию. Большинство стихотворений шестой книги обращено в прошлое. В «Иве» время течет от счастливого прошлого к горь кому настоящему, в «Надписи…» — от настоящего к будущему. Оба «заглавных» стихотворения шестой книги — своеобразный диптих. В этой книге Ахматова навсегда простилась с прошлым и, бесстрашно восприняв трагическую катастрофичность мира, шагнула в будущее. Шли годы, менялись взгляды Ахматовой на созданное ею ранее. Со временем мотивы «Тростника» становятся доминирующими в ее творчестве. Впрочем, и сейчас для одних читателей шестая книга обернется «Ивой», для других — «Тростником». Последнюю, седьмую, книгу составили все стихотворения поздней поры. Книга эта — произведение мудрого, познавшего счастье и трагедию человека, бесстрашно приемлющего жизнь: Что войны, что чума? — конец им виден скорый, Им приговор почти произнесен.  
  
Но кто нас защитит от ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен.  
  
Эпоха, враждебная Ахматовой, не раз пыталась ее уничтожить, но «королева-бродяга» (так Ахматова себя именовала) выжила, сберегла свой до времени затаенный, раздирающий грудь крик, зов к людям из глубины, из бездны. Новаторство Ахматовой не только в открытости ее интимных признаний, но и в странной для любовной лирики отзывчивости на голоса и движения эпохи. Стихи Ахматовой впустили в себя тревоги большого мира. Эпоха — с ее войнами, революциями и движениями множеств — вдруг зазвучала в любовной мольбе. Роль здесь сыграла не сама масштабность человеческой и поэтической личности Ахматовой, а главное — ее недремлющая и воспаленная совесть. При всей своей трепетности и нежности слова Ахматовой оставались властными, твердыми и повелительными:  
  
Я — голос ваш, жар вашего дыханья, Я — отраженье вашего лица… («Многим»)